

МАМА

Боже мой, как трудно, мучительно больно всё это писать. Как бинты сдирать с незажившей раны. Несколько раз принималась – бросала, зачёркивала, рвала. Страшно каждого неточного слова, каждой неверной ноты, неправдивого воспоминания. Мне так хочется, чтобы она ожила здесь, на бумаге, не только для меня – для всех. Не могу справиться с мыслями, не получается по порядку. Я буду писать обрывочно, что вспомнится. Как Бог на душу положит.

...Приснился сон под утро, что пришла мама. Слышу, что она в прихожей. Бодрый такой шорох, как она обычно входила – шумно, внося оживление. Вроде бы слышу шаги, шорох, а потом всё как-то тише, тише... Я вспоминаю, что она ведь больна. Выбегаю в прихожую, обнимаю её в темноте за плечи, целую. «Мамочка! Как же ты дошла одна? Вот молодец! Теперь мы всегда будем вместе». Минута счастья. И вдруг чувствую, как она как-то съёживается, уменьшается под моими руками, слабеет. И говорит мне сквозь слёзы: «Я погибаю... погибаю!»

Просыпаюсь. Шесть утра. Больше спать уже не могла. Мучилась, давилась этим сном молча, как слезами. Давиду не могла его рассказывать – очень больно. Отодвинула куда-то на задворки сознания. Писала фонограммы, варила суп, ходила на базар, гуляла с Линдой. А в памяти всё время этот сон. Жалко, если он уйдёт, забудется. Это всё, что у меня от неё осталось.

В последний год мама часто рассказывала мне о своей жизни, о том, что было до меня. Я жадно слушала, стараясь запомнить, но, конечно, многое уж ушло, улетучилось. Почему не записала тогда на диктофон? Простить себе не могу. Ведь даже голоса её у меня не осталось. Мысль о магнитофоне тогда приходила, но я инстинктивно отбрасывала её – ведь это значило признаться себе в её скорой смерти. Я не могла, не хотела об этом думать. Как страус, голову в песок прятала.

Она рассказывала, как познакомилась с отцом в юридическом институте, где они вместе учились. Время было послевоенное, 1946 год. Отец повёз её в Сталинград к своей родне – знакомиться. Ему уже присмотрели там невесту – какую-то дочку банкира. А он представил им маму: вот моя жена. Мама была очень бедно одетой, маленькой, худенькой, стеснялась своего вида. Но всем там понравилась. В том же году они и поженились. Везли с собой в Саратов единственный стул – всё их «приданое». Этот старый венский стул, который сейчас стал уже чем-то вроде символа времени, неперенный атрибут всех телеспектаклей на тему прошлой эпохи, сохранился на некоторых фотографиях в домашнем альбоме. С него начинался быт нашей семьи.



Мы жили тогда на Горького в крохотной комнатке в коммуналке на 20 семей. Мама работала судебным исполнителем. Она должна была осуществлять судебные решения по выселению, по описи имущества и т.д. Ей было жалко людей, и она старалась предупредить их заранее, как-то смягчить удар, помочь. Её все любили: подруги, соседи, сослуживцы. Все звали её «Ирочка».



Она была очень живой, весёлой, хохотушкой, боевой, решительной, абсолютно бесстрашной. Боялась только грозы. Так пугалась раскатов грома, что пряталась в ванной. Там у неё была маленькая скамеечка, где она её переждала. Пыталась и меня туда затащить. Я её высмеивала, стыдила – бесполезно. Этот страх был у неё с детства: цыганка нагадала, что она погибнет в грозу.

...На мамины похороны пришёл весь подъезд. Из её подруг уцелела только одна – Клавдия Фёдоровна. Она пришла с палочкой, сама ходила еле-еле, а это был март, гололёд. «Не могла не прийти! – дрожащей рукой положила ей на гроб два цветочка. – Ирочка моя! – залилась слезами, увидев её иссушенное болезнью лицо. – Старушечка ты моя...» Она единственная помнила её юной, красивой. Они вместе с мамой работали тогда на заводе «Крекинг». В 41-м им было по семнадцать. Однажды началась бомбежка, и они вдвоем бежали домой через весь город под бомбами. Клавдия Фёдоровна много раз рассказывала мне об этом: как упали, хохотали, какая на маме была блузочка, которую она испачкала в грязи. Но им всё было нипочём – молодые, весёлые... Я как будто видела всё это – каким-то внутренним зрением, словно сама была там с ними. «Всё, что было не со мной – помню».



Мне не дают покоя слова, которые мама сказала тогда перед смертью, а я не расслышала. «Прости меня...» Или «Спаси меня»? Это последнее, что она мне сказала. Простить – за что?! Это я себя никогда не прощу. Спасти... Я пыталась. Вызвала скорую, купили с Давидом все лекарства, что они навывисывали, делали уколы. Сейчас думаю, может быть, зря мучили? Может быть, надо было не трогать тебя в последние минуты, оставить в покое.

Потом пошёл совсем иной отсчёт времени. Первая ночь без тебя. Первая весна без тебя. Первый Новый год... Твой день рождения был 31 декабря, он всегда был неразрывно связан с Новым годом, был двойным праздником. А теперь стал двойным горем.

Запись из моего дневника от 1 января 2006-го года: «Вчера был день рождения мамы. Первый год без неё этот день. Целый день она у меня в голове и в груди. То и дело подходила к окну, к моей акации. Она, едва завидев меня, начинает трепетать всеми своими кисточками. Ещё не было случая, чтобы она не шелестела мне навстречу – в любую безветренную погоду. Я ей шепчу через окно: «Мамочка, я тебя вижу, слышу, помню, люблю. Моя родная, солнышко моё, бедненькая моя...» И она мне в ответ тянется, трепещет, так радостно, утешающе. Со стороны, наверное, – сумасшествие, но для себя я уверена на все сто – изначально, генетически знаю, что это она, что она тут. Она не смогла бы там без меня, она нашла бы какой-нибудь способ быть со мной!

И ещё я заметила: на балкон, на карниз то и дело прилетает воробышек. Не знаю – тот же самый или разные. Он всё время шныряет по балкону, заглядывает в окно, вертит туда-сюда головкой. А потом – шмыг, на акацию. И что-то чирикает ей в ветки. Словно она посылает его: узнай, как она там, и мне расскажи. «Воробышки игривые, как детки сиротливые...» Как я любила эти стихи в детстве. И вот теперь сама такая же, как эти детки. «Думать не надо, плакать нельзя» (С.Липкин).



Вечером не знала – пить ли шампанское, видеть его не могла. Как она его

хотела! «Да ведь я не доживу...» – когда я сказала, что принесу к 8 марта. А потом, уже после праздника, спрашивала Давида: «Ты мне шампанское принёс?» Он опешил: «В честь чего шампанское?» Она растерянно: «Хочу...» «Вам сейчас нельзя». Когда он мне это рассказал, я тут же кинулась звонить сиделке: «Скажи маме, что я принесу завтра шампанское». Но она ей ответила: «Я уже ничего не хочу».

Я не знала – пить ли, словно это было кощунство – пить, когда она его не напилась, не дождалась. Или наоборот, выпить за неё, может быть, она это через меня почувствует? Выпила полфужера, но оно никак не шло в меня, вылила остальное. А ночью приснился сон. Долгий, не помню уже ничего, только конец. Будто мы – то ли с Давидом, то ли ещё с кем-то – их много – скачем на конях (это в какое-то старое время), торопимся скорей успеть в деревню, будто бы там осталась мама, и я тороплюсь её застать в живых. Подъезжая, слышим истошный крик, кого-то вроде бы убили. Я хватаю за руку какую-то крестьянку – почему-то во сне она называлась мною «чернавка» (как в сказке Пушкина), и говорю: «Узнай, кого убили, вернётся, дам тебе конфету». Но не могу дождаться её, иду сама и боюсь идти, узнать страшное.

Вижу какую-то походную кухню, и там две женщины стряпают («очаг» – мысленно пропечаталось слово). Одна из них – моя бабушка. Я радуюсь, что она живая (даже почти молодая, ну, средних лет), обнимаю её, спрашиваю: «А где мама? Она жива?» – «Жива, жива, – отвечают мне женщины (вторая – вроде какая-то соседка) – она в шестой палате». Я обрадовано кричу: «Живая!» – и бегу искать эту палату. Но это не больничная палата, а вроде как палатка в палаточном городке, как в Чардыме. Ищу, но никак не могу найти её. И вдруг вижу стол, такой, походный, на котором разделявают пищу, и там разложены аккуратно кусочки мяса, как для отбивных. Ровные такие, одинаковые кусочки. И вдруг я понимаю, что это буквы, которые означают слова. И не просто слова, а слова мамы, которые она написала для меня, и не просто слова, а стихи. Стихи мне, обо мне. И там такие строчки (запомнила только эти): «Ты утиночка моя, ты картиночка моя». Я сразу поняла, что это она мне написала, что это была переключка с моей детской поэмой об утке, написанной в шесть-семь лет, которой мама всегда восхищалась. Там было что-то про утку-мать и про непослушного утёнка, который в конце поэмы образумился и понял, что надо слушаться маму. И вот это неуклюжее «ты утиночка моя»... Это было похоже на слова первого объяснения Давида в любви: «золотиночка моя»... Мне ещё никто таких слов не говорил, я их всё время про себя повторяла. И вот это слилось: «золотиночка моя» и «утиночка моя». Только Давид меня держит на этой земле. Как я хочу туда, к маме, к отцу, к брату, сказать им всё, что не сказала при жизни, поддержать, обогреть. Если б знать, что я их там встречу. Какое бы счастье...»

Но чем больше проходило времени, тем сильнее я ощущала мамино

присутствие. От неё всегда шло столько энергии, тепла, любви – нерассуждающей, всепоглощающей, всепрощающей, всеохватной... Этой любви было так много, что она не могла вместиться в тот ящик и скрыться под землю, она осталась в воздухе, в каждой вещи, в каждом листике, дыхании ветра. Я её чувствую, ощущаю физически. После отца осталась тоска недосказанности, недолюбленности, а после мамы – огромное тёплое биополе её души. Я чувствую, что она здесь, рядом, смотрит на меня, слышит меня, греет и хранит. «Бог сохраняет всё, особенно слова прощенья и любви, как собственный свой голос».



Она была очень щедрой. Ни в чём не знала меры. Помню, мне было лет шесть. Мы жили бедно, подарками меня особенно не баловали. И вдруг однажды накануне моего дня рождения мама приходит с работы оживлённая, радостная и говорит мне: «А ну-ка отвернись!» Что-то достала из сумки. – «Теперь можно». Я поворачиваюсь и вижу у неё в руках – платье. Такое, о каком мечтала! Вернее, даже не мечтала. –«Примерь!»

Я облачаюсь в обновку, верчусь перед зеркалом, порхаю по комнатам. Радость распирает грудную клетку. Мне хочется во двор, похвастаться подружкам. Но мама не отпускает. – «Подожди. Отвернись снова!» И – о чудо! – Снова платье. Ещё лучше прежнего! Я пляшу что-то вроде лезгинки, целую маму, не налюбуюсь на свои наряды. И вдруг опять: «Отвернись! Можно!» Ещё

одно! Это уже какое-то невозможное счастье. Так не бывает... Такое бывает только во сне... И так было... семь раз! Она мне купила тогда семь платьев. Кажется, на всю зарплату. Я их до сих пор все помню: фасоны, расцветки, всё-всё. Мама умела дарить радость.



Когда мне исполнилось восемнадцать лет, она мне подарила Ленинград (тогда он ещё так назывался). Боже мой, какой это был незабываемый месяц. Мы ехали по данному кем-то из знакомых адресу и долго искали там указанный в бумажке «Фанерный переулок». Никто не знал про такой. Оказалось, мы неправильно прочли, переулок назывался «Фонарный». Нас встретила неприветливая старуха. Она была одинока, нездорова и не ждала никаких гостей. Но мама с ходу очаровала её, и уже через 10 минут они пили с ней чай на кухне как самые закадычные подруги.

Каждое утро мы смотрели в газету: куда сегодня пойдём? За месяц побывали с ней везде: во всех музеях, на всех экскурсиях. Бродили в белые ночи по Невскому, по старинным улицам, любовались Петергофскими дворцами, памятниками, роскошными парками Павловска, мрачными петербургскими домами. Мама наивно восторгалась на каждом шагу, то и дело останавливалась, ей каждый дом там хотелось потрогать. Счастливее лета у меня не было.



Когда мама уже болела, не вставала, она решила устроить мне праздник на день рождения. Отдала всю свою пенсию соседкам, сиделкам с наказом – что купить. Придя к ней в этот день, я остолбенела: весь стол был уставлен жутко дорогими деликатесами: ананасами, чёрной икрой, фруктами, чего я сама себе никогда бы не позволила. А она, лежа на кровати, сияла: смогла-таки поздравить меня по-царски! Ей хотелось, чтобы я в этот день ничего не готовила, а только отдыхала и наслаждалась вкусной едой. А как мы будем жить потом месяц, как сводить концы с концами – она не думала.

В следующем году я постаралась пресечь это расточительство: уверяла её, что мне не нужно никаких подарков, объясняла, что денег на необходимое не хватает, что мы не можем себе этого позволить. Говорила, как мне казалось, разумные вещи. А мама вдруг заплакала: «Что же это такое, я дожила до того, что даже подарок тебе сделать не могу...» Я ей сделала больно, дала ощутить свою беспомощность. Может быть, не нужно было запрещать, пусть бы покупала эти не нужные мне ананасы, лишь бы это доставляло ей радость. Как многого я не понимала тогда, смотря лишь со своей колокольни.



Когда заказывали с Давидом памятник, заказали «овал». Я долго выбирала для него мамину фотографию и выбрала ту, где она была больше всего похожа на себя, которая, как мне казалось, выражала её суть. Она была там не молодой, не старой – средних лет. В цветастом халате, в котором я её хорошо помню, с завитком на лбу (такой делали тогда многие женщины, подражая Валентине Терешковой), с застенчивой улыбкой и какой-то робкой надеждой в глазах. Надеждой на радость. Ей так всегда хотелось радоваться, но жизнь редко давала к этому повод.

Фотомастер похоронных дел проявил творческое рвение, в результате которого мама на овале предстала отретушированной, намного моложе и красивей, чем на карточке, в обрамлении затейливых веночков. Но это была не она. Что-то неуловимо изменилось в пропорциях лица, в выражении глаз. Я отвергла эту работу, пытаясь объяснить, что мне не нужна «улучшенная» копия мамы, мне нужна она, узнаваемая, родная. Меня не поняли, сочли это вздорным капризом, но деньги всё же вернули. Я заказала овал в другом месте, и там уже она была – она, без всякой дурацкой ретуши и глупых финтифлюшек.



Помню, как приехали с Давидом на Новое кладбище в первый раз после установки памятника. Пока добирались – пошёл дождь. Участок был самый дальний, туда идти надо было минут двадцать в открытом поле. У нас ни зонтов, ничего. И вдруг – чудо! – только мы подошли к маминому участку – дождь прекратился внезапно и стало так тихо, ясно, просветлённо. Словно это она для нас сделала, чтобы мы спокойно могли убраться на могиле. Я посмотрела в небо: мамочка, это ты? На меня сверху капнуло две дождинки. Словно две слезинки. «Там, в небесной вышине кто-то плачет обо мне».

И ещё был один волшебный случай. Мы с Давидом, уже убравшись на могиле, собирались возвращаться. Но что-то как будто мешало мне уйти. Мне не хватало ощущения её присутствия, какого-то тайного знака, что она тут, рядом, со мной. Я окинула взглядом пустынное поле, хмурое небо – никого и ничего. Одни лохматые вороны кружили над крестами. И вдруг... Это было, клянусь, Давид не даст соврать – откуда ни возьмись – соловей! Здесь, в этом диком поле, где ни деревца, ни кустика! Он, вынырнувший откуда-то из-за туч, приземлился на соседний крест, прямо перед нами, и – запел.

Мы замерли, боясь пошевелиться. Соловей, казалось, видел нас, и не только не боялся – он пел для нас! Сколько это длилось – минуту, другую?.. Допев свою руладу, он исчез так же неожиданно, как возник. У меня по щекам текли слёзы. Ну какие ещё нужны доказательства?! Да будь я хоть трижды атеист, как я могу не чувствовать этого – что ты смотришь, видишь, слышишь меня. Не чужой холодный неведомый Бог, а ты – родная, тёплая, любимая. Я чувствую тебя всюду – в дождике, ветке дерева, солнечном лучике – всё это ты, всё пахнет тобой («Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты» (Фет), твоя любовь, твоя всевидящая и вездесущая забота и тревога.



Как ты плакала в трубку, если я поздно приходила, как упрекала: «я же волнуясь!» Мне это казалось вздорной причудой, я снисходительно увещевала: «Ну что ты, ну что со мной может случиться!» То вдруг звонит чуть свет, плачет: «Видела тебя маленькой. Такой страшный сон... Как ты, доченька, здорова? У тебя всё в порядке?»

Потом ты уже не слышала и говорила мне в трубку, пытаюсь угадать мой ответ. Я говорила сиделке, а она уже – в ухо тебе. Я уговаривала тебя переехать к нам каждый день: «Мне будет легче, ты будешь рядом, не надо будет таскать сумки, я не наготовлюсь на этих сиделок». – «Нет». Не хотела обременять. А потом уже нельзя было перевозить: каждое прикосновение причиняло боль. Врач прописала обезболивающее: трамал, но не предупредила, что оно замутняет сознание, что его даже используют наркоманы. Ты их выплёвывала, не хотела пить. Хотела, чтобы сознание было ясным – пусть даже ценой боли.

Но как ты была мужественна – не видя, не слыша, почти не двигаясь. Как хотела жить, любить. «Дай твою ручку». «Какое на тебе платье?» Развивала планы об обмене наших квартир на одну: «У тебя будет то-то и то-то... Я всё для тебя сделаю!» Я давила в себе слёзы.

Как радовалась, когда моё стихотворение победило на конкурсе в США. «Ну, прочитай ещё. Ну, ещё!» По несколько раз в день просила. Умудрялась находить радость даже в своём положении. «Завтра принеси мне мой белый махровый халат. Я его надену, и мы будем пить шампанское!» (был какой-то праздник). Халат мы надеть ей не смогли – было больно. Накрыли этим халатом. Шампанское она пила лёжа, через соломинку, которую я держала в руках. «Ну, а теперь, – блаженно улыбалась, – вы идите, а я буду спать».

Как она радовалась, когда я приносила мороженое, что-нибудь вкусненькое. Каждому пустяку радовалась, как ребёнок.

Вдруг вспомнила про открытку от Аксёненко, попросила найти. (Он поздравлял всех ветеранов с Днём победы). Почему-то она была ей очень важна. (Наивно думала, что это он сам писал ей лично). Обыскала всё – как провалилась. Мама плакала. Нашла уже после смерти в буфете за чашкой.

В один из последних дней попросила зефира в шоколаде. Я отламывала его маленькими кусочками и осторожно вкладывала в рот. Заметила, что у неё неестественно красный язык. – «Мама, почему у тебя такой язык красный?» – «Живой потому что». – Она ещё шутила. Долго смаковала зефир беззубым ртом, и вдруг – с тоской: «Как же я всё это любила!» Эта денисьевская фраза (но мама не знала тех тютчевских стихов) резанула по сердцу.

Но это было единственный раз. Она не хотела думать о смерти, никогда не говорила о ней. «Живой о живом думает» – любимая её поговорка. Но для меня это – живое. Все, что с ней связано, – более живое, чем то, что окружает в реальности. «Ты притронься сюда рукою. Там живое. Оно болит».

Помню, пришла как-то, она спит. Такая маленькая, седенькая. Сердце сдавила жалость.

Мама, белая головушка,
утро новое горит.

Как я люблю эту окуджавскую песню.

Но сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

Иногда мне кажется, что она – это я. Пока наши близкие живы, мы думаем, что мы – другие, что мы – это что-то самостоятельное, а мы на самом деле – часть той же самой ткани, та же самая ниточка...



Тянешься ко мне стебельками трав,
звёздочкой мигаешь мне за окном.
Жизнь мою ночную к себе забрав,
ты ко мне приходишь небесным сном.

Я хожу по нашим былым местам,
говорю с пичужкой, с цветком во рву.
Пусть тебе ангелы расскажут там,
как я без тебя живу – не живу.

Твой пресветлый образ во всём вокруг.
Я тебя узнаю во всех дарах.
И надежда греет: а вдруг, а вдруг...
Пусть в иных столетьях, в иных мирах...